Серебряный герб

Автор:
Корней Чуковский

Серебряный герб

Корней Иванович Чуковский

Серебряный герб, этот отличительный знак учащихся дореволюционной мужской гимназии, мальчики носили на своих форменных фуражках. Героя повести несправедливо исключают из гимназии и лишают драгоценного знака отличия. На смену беззаботным, полным шалостей ученическим будням приходит совсем другая жизнь: бродяжничество, поиск работы, новые друзья и недруги – всё, чем представлена улица в колоритном многонациональном южном городе конца XIX века.

Корней Чуковский

Серебряный герб

Глава первая

Телефон

Зуев высыпал из ранца полдюжины мелких иконок – медных, жестяных, деревянных, бумажных, – разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.

Зуев молился недаром: через три или четыре минуты в нашем классе начнется диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней. Одиннадцать дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошел наш директор Бургмейстер (Шестиглазый, как звали мы его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим певучим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятельство граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки.

Теперь этот день наступил.

Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.

– Тимоша… Погоди… я придумал!

В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи веревочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:

– Привяжи к ноге… Да покрепче!

И, покуда он возится с узлами хвоста, говорю:

– Дерну раз – запятая. Два – восклицательный. Три – вопросительный. Четыре – двоеточие. Понял?

Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово. Но он заика, и изо рта у него вылетают только две-три буквы и брызги слюны.

Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кудрявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.

Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек! Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.

Блохин достает из кармана бечевку и протягивает ее от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет ее к своей правой ноге.

Рядом с Бугаем – Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус.

Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.

За Зюзей Козельским, на «Камчатке», у самой стены сидят знаменитые на всю гимназию губошлепы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним.

– Не забудьте же, – повторяет Блохин. – Раз – запятая, два – восклицательный, три – вопросительный, четыре – двоеточие. Поняли?

А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза все время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.

В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.

По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка, хотя и случалось, что тут же, по соседству с пятеркой, мне ставили в тетрадку единицу – за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.

Но вот распахнулась дверь. В класс вошел не Бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннадцать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом. И немедленно начал диктовать нам диктовку.

Пришлось поработать моей правой ноге! Все время, пока длилась диктовка, я дергал, и дергал, и дергал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело.

Диктовка была такая (я запомнил ее от слова до слова):

В тот день (дерг!), когда доблестный Игорь (дерг!), ведущий войска из лесов и болот (дерг!), увидел (дерг!), что в поле (дерг!), где стояли враги (дерг!), поднялось зловещее облако пыли (дерг!), он сказал (дерг! дерг! дерг! дерг!): «Как сладко умереть за отчизну!» (дерг! дерг!)

Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву, и Тимоше, и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня – Козельскому и братьям Бабенчиковым.

По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом взял наши тетради и унес неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.

И благодарила же меня вся спасенная мною шестерка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы – полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.

Через неделю в класс деревянной походкой снова вошел незнакомец в сопровождении нашего наставника Флерова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь…

Незнакомец порылся в тетрадях.

– Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф… Нельзя ли пригласить их к доске?

Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.

Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:

В тот день когда: доблестный Игорь ведущий? войска из лесов и болот увидел что в поле где? стояли, враги поднялось!? зловещее облако пыли?

– Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому нуль, равно как и Григорию Зуеву.

Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:

– Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы… Бабенчиков Александр написал свою диктовку так:

В тот день когда доблестный Игорь веду, щий вой!ска из ле?сов и бо, лот уви, дел что в поле где стоя, ли вра!ги поднялось зловещее об, лако пы?ли он сказал как слад, ко умереть: за от, чизну.

Беда произошла оттого, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей – быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.

После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть – так болели у меня ребра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.

Вернулся я в гимназию лишь на четвертые сутки.

Молва о телефоне гудела и в коридоре и в классах.

Но Шестиглазый предпочел притвориться, будто ничего не слыхал: иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью.

Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через два года, в пятом классе, случилась со мной беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понес такое наказание, какого не забуду до конца моих дней.

Виновником этой беды был наш гимназический поп.

Глава вторая

«Да-Да-Да!»

Звали попа Мелетий. Он очень старался быть добрым. Только это плохо удавалось ему, потому что он был очень обидчивый. Заведет тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны нежно любить и друзей и врагов, и вдруг позеленеет от злости:

– Как вы смеете смеяться надо мной! Бондарчук, почему ты хихикаешь?

– Батюшка, я не хихикаю!

– Нет, ты хи-хи-каешь! Все вы там сзади хи-хи-каете! Вот Лобода не хи-хи-кает! Зуев не хи-хи-кает! Косяков не хи-хи-кает! А вы хихикаете! Почему вы хи-хи-каете?

– Батюшка, мы не хихикаем!

На уроках он всегда был какой-то рассеянный. Соберет всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно:

– Да-да-да-да-да!

Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит невпопад, поддакивая своим собственным мыслям:

– Да-да-да!

Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произносит это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот:

«30… 40… 48… 53… 60…»

Моим соседом был Гришка Зуев. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться хоть каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты.

Понемногу мы оба приходим в азарт.

Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит свое «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш.

Но вскоре я с негодованием замечаю, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную: 212.

Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью.

Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Мелетия:

– Зуев… И ты… Как тебя? Ну-кася, повторите, о чем я сейчас говорил.

Странное дело: нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив. Для того чтобы не пропустить ни одного «да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Мелетия. Но, кроме «да-да-да», мы, оказывается, ничего не слыхали.

Потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу.

Мы стояли растерянные и бормотали несвязное. Зуеву повезло: его большая круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжелая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удрученного грешника, переживающего муки раскаяния.

Попу Мелетию его покаянная поза понравилась: поп Мелетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картиной. И благосклонно произнес:

– Да-да-да!

– Четыреста двенадцать, – еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях.

– Врешь! – возразил я запальчиво. – Не четыреста двенадцать, а двести четырнадцать!

Голос у меня был визгливый, и мое «врешь» прозвучало как выстрел.

Мелетий взлохматил бороду.

– Сейчас же ступай к доске, – сказал он, – и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля.

И прибавил внушительно:

– Да!

Это новое «да» особенно рассмешило меня.

– Хи-хи-каешь! – рассердился Мелетий. – Радуешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Григория Зуева!

Тут уж засмеялся весь класс. «Благочестивый» Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель.

Желая показать отцу Мелетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать «благочестивого» Гришку Зуева, я решил открыть ему всю правду.

– У вас, батюшка, – сказал я любезно и вкрадчиво, – есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока…

Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из нее волоски.

Это всегда выражало у него высшую степень гнева: чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из нее два или три волоска.

Теперь он вырвал не меньше десятка и, вырвав, сложил их рядком, один к одному, на черном переплете классного журнала, дунул на них что есть силы и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным голосом (в минуты гнева голос его всегда опускался до шепота). Он говорил, что он служитель алтаря – да-да-да! – и не допустит – да-да-да! – чтобы всякий молокосос – да-да-да!..

Говорил он долго и тем же шепотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса.

Я вышел из класса и стал у дверей…

Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то онагром. Что такое онагр, я в то время не знал и тихонько отодвинулся от двери.

Близилась большая перемена.

В конце коридора зазвякали стаканы и блюдца.

Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, застланном грязноватою скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды.

В кармане у меня оказались четыре копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот – динь-дилень! – зазвонил колокольчик, и изо всех дверей стали выбегать гимназисты. Вот и поп Мелетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, шествует крупными шагами в учительскую.

Я бегу к нему и говорю:

– Батюшка, простите, пожалуйста!

Но рот у меня набит пирожком, и у меня получается:

– Баюа, поие, поауа!

Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг его чахлые, тонкие губы искажаются ужасом.

– Ты… Ты… Ты!.. – говорит он, задыхаясь от ярости, и хватает меня за плечо.

Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь-то мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно великим постом, мы, христиане, и думать не смели о мясе, ибо господь бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели господу богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот! Но Мелетий уверял нас, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня (в пятницу!) дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком – нарочно, чтобы поиздеваться над ним, да-да-да!

Непрожеванный кусок этой преступной еды так и застрял у меня в горле.

Я понял, что мне прощения нет и не будет, но все же лепетал механически:

– Батюшка, простите, пожалуйста!

Мне самому его прощение было не нужно, но на Рыбной улице во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее большим несчастьем.

Всякий раз, когда в гимназии со мной случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что целые сутки у нее будет болеть голова и что целые сутки она – моя мама – будет лежать без движения, полумертвая, с почернелыми веками.

Я готов был сделать все на свете, лишь бы голова у нее перестала болеть.

И вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:

– Батюшка, простите меня!

Но по его насупленным белесым бровям, по вздернутому крохотному носику, по искривленной нижней губе я вижу, что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить.

– Как христианин, – сказал он, – я прощаю тебя. Как твой духовный отец, я молюсь за тебя. Но как законоучитель я обязан тебя покарать… Ради твоего же спасения.

Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Мелетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое, мясистое, бабье лицо лоснилось от куриного жира.

Вдруг Мелетий заулыбался, закланялся: к нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошел Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своем шутовском языке:

– Слышал, слышал о ваших художествах! Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне… Сюда… В рыдальню?

Глава третья

Зюзя

Директор был немец: Бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенно русском языке и любил такие слова, как галдеж, невтерпеж, фу-ты ну-ты, намедни, давеча, вестимо, ай-люли.

Этим языком он владел превосходно, но почему-то это язык вызывал во мне тошноту.

Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей.

Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один «рыдалец». Это был распухший от слез, испуганный Зюзя Козельский.

Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием.

– Смею ли я верить глазам? – декламировал он, отступая на шаг и помахивая в такт своей речи какой-то измятой тетрадью. – Не обманывает ли меня мое зрение? Не мираж ли передо мною? Но призрак ли? Неужели это ты, Козельский, тот самый Иосиф Козельский, который еще в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев, опорой семьи?..

В этом стиле он мог говорить без конца, подражая величайшим ораторам древности. Не меньше получаса терзал он Козельского, и только к концу этого получаса я понял, в чем заключается преступление Зюзи.

Преступление было немалое.

Началось с того, что Зюзя получил на этой неделе целых две единицы – по каким предметам, не помню. Эти единицы были проставлены классным наставником Флеровым в его школьный дневник. И он должен был показать их отцу, чтобы тот подписался под ними. Но так как Зюзин отец, владелец ресторана у Воронцовского сада, грозился избить его за первую худую отметку, он, по совету своего товарища Тюнтина, переделал у себя в дневнике обе единицы на четверки. Дело было нетрудное. Отец Козельского не заметил обмана и подписался под фальшивыми четверками с большим удовольствием.

Но Зюзя был малоопытный жулик: когда ему пришлось превращать четверки «назад» в единицы (для предъявления классному наставнику), он так неумело стер лишние черточки перочинным ножом, что вместо них образовались две дырки.

Что было делать? Если классный наставник увидит ужасные дырки, лучше Зюзе не возвращаться домой. Нужно было скрыть следы преступления.

И вот вчера вечером, по совету того же Тюнтина, Зюзя решил похоронить свои единицы в глубокой могиле, из которой они не могли бы воскреснуть. Пробрался тайком в наш гимназический сад, выкопал под акацией ямку, не очень глубокую, так как почва была жесткая, кремнистая, и закопал там навеки свой многострадальный дневник.

Он был уверен (и в этом убедил его Тюнтин), что, чуть он заявит о пропаже своего дневника, ему тотчас же выдадут новый, без единиц и двоек, без замечаний и клякс, и тогда он начнет новую, светлую, прекрасную жизнь.

Был лишь один свидетель этих тайных похорон дневника: пес Эсхил, ньюфаундлендской породы. Эсхил принадлежал Шестиглазому. Шестиглазый каждое воскресенье прогуливался с Эсхилом по приморской аллее с незажженной сигарой во рту. У Эсхила были добрые, человечьи глаза. Они глядели на Зюзю с братским сочувствием.

И этот-то ласковый пес, так приветливо вилявший своим добрым хвостом, предал Зюзю, как последний подлец.

Чуть только Зюзина работа была кончена и Зюзя удалился счастливый, собака разрыла своими добрыми лапами могильную насыпь, схватила зубами

похороненный под нею дневник и, не понимая всей безнравственности своего поведения, побежала прямо к Шестиглазому, замахала добрым хвостом и положила добычу к ногам повелителя.

Теперь этот дневник находился в правой руке Шестиглазого, вымазанный землею, измятый и рваный. Шестиглазый изящно помахивал им перед носом Козельского, угрожая преступнику чуть ли не Сибирью.

Я так глубоко задумался о собственных своих злоключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушел. Я знал, что мне предстоит такая же мучительная пытка: целый час прижиматься к стене и слушать монологи Шестиглазого.

Но дело обернулось еще хуже.

Он сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями.

Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева, устраиваю десятки снастей для сигнализации во время диктовки (вот когда он вспомнил о моем телефоне) и нарочно даю неверные сигналы товарищам, чтобы они получали нули…

– Нарочно?!

– Нарочно! Нарочно! И ты думаешь, я не знаю, – вскричал Шестиглазый, надвигаясь на меня еще ближе, – что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четверки и зарыть под деревом дневник?

– Я?!

Словно кто ударил меня кнутом по глазам.

Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что все это ложь, ложь, ложь, и, когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды.

Шестиглазый схватил меня за руки и стал отдирать их от моих ушей, но я сопротивлялся отчаянно.

В конце концов ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда, уже без всяких фиоритур красноречия, что о моем буйстве он доложит совету, а покуда, до того как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на две недели, и пусть завтра, в субботу… или нет, в понедельник… придет к нему моя мать, которая… которая… Впрочем, он лично побеседует с нею… и пусть она пеняет на себя, что так плохо воспитала меня.

Глава четвертая

Невеселая дорога

Измученный шел я в этот день из гимназии домой. Помню, подбежал ко мне Леня Алигераки, соседский мальчишка, и стал показывать большую стеклянную банку с усатой рыбиной песочного цвета, которую поймал он руками, и я еле сдержался, чтобы не хватить эту банку о камни.

Когда я повернул на Канатную улицу, мимо проехал воз, доверху груженный камышом.

Еще не встречалось мне камышиного воза, из которого я не выдернул бы себе камышинки.

Всякая камышинка была для меня настоящим богатством. Из нее можно было сделать косматую пику и сражаться на заднем дворе с армией Васьки Печенкина. Из нее можно было смастерить дудку и дудеть под окнами у сумасшедшего Беньки, покуда Бенька не выскочит и не закричит: «Скандибобером!»

Из нее можно было сделать раму для бумажного змея и запустить его так высоко, чтобы тебе позавидовал сам Печенкин, хромоногий кузнец, знаменитейший змеепускатель нашей улицы.

Но сегодня я даже не сделал попытки подойти к этому возу поближе, хотя улица была пустынна и я свободно мог выдернуть не одну камышинку.

На углу Канатной и Рыбной под ноги мне попалась жестянка – круглая, легкая, звонкая.

В другое время я непременно ткнул бы ее носком сапога, она помчалась бы, громыхая, по камням мостовой, я побежал бы за ней и гнал бы ее до самых ворот, а потом припрятал бы где-нибудь в мусорной куче, чтобы гнать ее завтра назад по дороге в гимназию: это было одно из самых любимых моих развлечений. Но теперь я угрюмо отшвырнул ее в сторону и согнулся еще больше, чем всегда, потому что в детстве был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался, как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня «гандрыбатым».

Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче. Но она не скажет ни слова, она только свалится в постель, и лицо у нее станет желтое, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней… И что сделается с нею в понедельник, когда она, изнуренная, встанет с постели и, еле передвигая ногами, пойдет к Шестиглазому, а тот, вымотав у нее все жилы своим красноречием, скажет ей торжественным голосом, что ее сын негодяй и что одна ему дорога – в босяки?

Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть только один страх: как бы не исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти.

Ужасно не хочется возвращаться домой. Я останавливаюсь перед большим магазином «Гастрономическая торговля братьев В.И. и М.И. Сарафановых» и рассматриваю колбасы, маслины, икру, балыки, сыры.

Этот магазин кажется мне великолепным дворцом. Здесь и я бываю покупателем. Всякий раз, когда у мамы бывают деньги, я прибегаю сюда, зажав в кулаке полтинник, и чувствую себя важной персоной и говорю надменному приказчику:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/chukovskiy_korney/serebryanyy-gerb

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить